



Лада Миллер

Заговоренные

Лада Миллер

Заговоренные

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64575207

Аннотация

Семейные страсти или спокойная жизнь? Постоянно меняющиеся любовники или один муж навсегда? Жажда приключений или забота о младенце? Две разные семьи, которые встретились на стажировке в Израиле. Две молодые девушки с разным темпераментом, но которые стали друг другу близкими подругами и поддержкой. Ира – сильно нуждается в своем принце на белом коне, а Юля – живет в окружении большой семьи с родителями. Все вместе, они познакомятся с красотоми Израиля, с коллегами в больнице и самими пациентами, коих будет очень много. Эта книга о любви, боли, потерях и находках... Книга «Заговоренные» – о жизни.

Содержание

Часть первая	4
Глава первая	4
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвертая	24
Глава пятая	30
Глава шестая	35
Глава седьмая	41
Глава восьмая	46
Глава девятая	52
Глава десятая	58
Глава одиннадцатая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Лада Миллер

Заговорённые

Часть первая

Глава первая

Ирка приехала в Израиль с мамой и годовалой дочкой Машенькой – прелестным созданием в кружевной панамке, с перевязочками на толстых ножках.

Мама у Ирки была еще не старая, тихая и послушная, она взяла заботу о внучке на себя, Ирке не перечила и воспитывать не решалась.

Мужа у Ирки никогда не было, дочку она заимела от «проезжего молодца», как говорила когда-то моя бабушка.

Как только на пути у Ирки случался мужчина, взгляд ее становился плавающим, будто размытым, губы складывались «уточкой», а маленькая грудь вставала торчком.

В такие моменты ее отчего-то становилось жалко.

– Мне очень надо выйти замуж, – призналась она мне на второй день знакомства, выпуская дым аккуратными колечками изо рта.

Вот она стоит передо мной – худенькая, ладная, у нее

огромные серые глаза, бледно-молочная кожа и светлые пушистые волосы, не признающие резинки и заколки, а потому торчащие этаким золотистым венчиком вокруг головы.

Мы познакомились в ульпане для врачей, на занятиях по изучению иврита, сейчас перемена, мы стоим в конце коридора, на балконе, увитом каким-то необычным плющем, толстые мясистые листья дают тень, здесь так уютно, что забываешь про крики торговцев с базара напротив, про грязь на улице и нищих с умными глазами.

У меня в руках пластиковый стаканчик с кофе, у Ирки сигарета. Курит она смешно. Есть женщины, которым курить не идет совершенно, Ирка была из таких. Она старательно отставляет мизинец в сторону и округляет рот. Дым попадает мне в глаза. Окурок – обмусоленный и розовый от помады – летит на мостовую под балконом.

– Мне очень надо выйти замуж, – задумчиво повторяет она и добавляет: – Я хочу большой дом и чтоб тяжело не работать.

Я уже знаю, что Ирка из Перми, что она только-только успела закончить медицинский, ни дня не работала, сразу после выпуска подхватила маму с дочкой, умчалась в Израиль, и вот – осела в Иерусалиме.

В ульпане она отчего-то «прилепилась» именно ко мне, устроилась рядом, все время заглядывала в мои тетради и книги, которые я приносила с собой на уроки и которые пыталась читать на переменах.

– Что это у тебя? – спросила Ирка в первый день занятий и уставилась на увесистую книгу.

Я подняла глаза.

– Это сборник вопросов для подготовки к экзаменам.

– Экзамены, – задумчиво протянула она. – Так до них же еще полгода. Зачем мозги заранее сушить?

Ирка нахмурила лоб, что-то подсчитывая в уме.

– А можно твою книгу перепечатать? Тут недалеко есть печатная мастерская.

– Отчего же нет? – кивнула я. – Пожалуйста. Только одной книги тебе будет мало. У меня знаешь уже сколько куплено?

Раз в неделю муж приносил мне новую медицинскую книгу.

– Это вместо цветов, – шутил он, и это была не шутка.

Деньги на книги мы с ним «добывали» на уборках.

Убираться было не тяжело, а даже интересно, обычно это были дома, где жили люди со средним достатком, открытые и душевные, выходцы из разных стран – из Ирана, Ирака, Туниса, иногда попадались более сдержанные, религиозные семьи, те, которые уже много веков, поколение за поколением, жили в Старом городе, никогда не смешивали мясо и молоко, семьи, в которых мужчины целыми днями молились и кланялись, а бледные женщины, широкие в кости, работали на нескольких работах и воспитывали бесчисленное количество детей.

День за днем, после учебы, мы с мужем убрали в их домах, чтобы познакомиться с новой жизнью – такой же пестрой и разнообразной, как вот этот базар через дорогу. Ну и чтобы книг закупить, это понятно.

– Сколько? – удивилась она. – Неужели так много надо учить? Мы же с тобой все помним, только-только институт закончили.

– Ничего мы не помним, – вздохнула я. – Нельзя помнить то, чему тебя не учили.

– Ну тогда давай вот что сделаем, – оживилась она. – Ты завтра все книги свои принеси, и мы пойдем вместе, все их перепечатаем, ладно?

– Хорошо, – согласилась я. – Как раз завтра у меня выходной, а книги я привезу в сумке на колесиках.

На следующий день, сразу после уроков, мы с Ирккой вышли из нашего ульпана, нырнули в раскаленный воздух.

– Я знаю одну печатную мастерскую, тут недалеко, – сказала я, собираясь повернуть за угол и волоча сумку по земле.

Колесики взвизгнули на вираже, но выдержали.

– Нет, погоди, мне надо в другую, – сказала Ирка и посмотрела на меня виновато, – правда, она немного дальше.

«Немного дальше» оказалось очень далеко.

Сначала мы с трудом протиснулись сквозь базар, сумка подсакивала на ухабах, торговцы облизывались, глядя на наши с Ирккой голые плечи.

Жара.

На мне пестрый сарафан до колен, но плечи открыты, бретелька, та, которая слева, все время норовит спрыгнуть, оголить незагорелую полоску меня.

На Ирке белые брюки в облипку и майка в розовую полоску, плечи у нее поострее моих, бледные, местное солнце сначала их гладит, потом начинает покусывать.

Выскочив из душных объятий базара, мы поворачиваем направо, еще раз направо и еще.

– Здесь уже начинается религиозный район, – говорю я Ирке и поглядываю на свои голые руки.

– Ну и что, – беспечно отвечает она. – Мы быстро, небось камнями не закидают.

– Очень даже закидают, – и я с опаской оглядываюсь по сторонам.

Мимо проходит мужчина в черном лапсердаке, черных башмаках и полосатых гольфах, на голове у него красуется круглая меховая шапка.

Видимо оттого, что на улице плюс сорок в тени, взгляд его так сердит. Но скорей всего его разозлили наши с Иркой плечи.

«Вот вляпались», – думаю я и ищу, где бы спрятаться.

– Скоро придем, – успокаивает меня Ирка. – Да не бойся ты, со мной не пропадешь. Я же заговоренная.

– Побьют. Как пить дать, побьют, – бормочу я, глядя на приближающееся семейство.

Отец одет точно так же, как и тот, который вот только что

чуть шею не свернул, злобно поглядывая на нас с Ирккой.

Мать очень красива, похожа на мадонну, только лысая. Лысины не видать, голова туго обмотана серой тряпочкой, длинный серый балахон, широкие рукава, безжалостный взгляд. От ее взгляда мы с Ирккой должны бы уже воспламениться, но все еще нет.

За родителями – гуськом – идут дети, мал мала меньше, сосчитать их невозможно, во-первых, потому, что я усиленно отворачиваюсь, прячу глаза, а во-вторых, потому, что их много и они прыгают и размахивают руками.

Оказывается, это они машут нам. То есть не нам, а на нас. Мы с Ирккой не понимаем идиш, но слова, которые выкрикивают эти дети, явно ругательные. Иначе откуда столько удовольствия на их чумазах физиономиях?

Из окон начинают выглядывать красивые лысые женщины и сердитые меховые мужчины. Слава богу, впереди маячит вывеска печатной мастерской, и – неужели? – там работает кондиционер.

Мы открываем тяжелую дверь, протискиваем свои щуплые и полуголые тела вместе с многострадальной сумкой в тишину и прохладу, замираем в полутьме, ищем глазами хозяина.

Хозяин – худой и благообразный, своим добрым лицом напоминает мне моего дедушку-немца, он крутит пейсы, поправляет на голове шляпу, рассматривает нас с Ирккой.

Рядом с ним стоит недовольный мужик с животом напе-

ревес и что-то быстро-быстро шепчет, кивая головой в нашу сторону. Голова его наполовину голая, редкие серые волосы пытаются прикрыть лысину, но куда там!

Ирка расцветает лицом и бросается к непонятному мужику навстречу. Он хватает ее крепко за руку, поворачивает из стороны в сторону, оглядывает, чуть не облизываясь, всю, с головы до ног, губы у него пухлые и мокрые, а еще мне кажется, что на Иркином худеньком предплечье обязательно останутся синяки от этих вот толстых волосатых пальцев.

– Это мой Ицик, – шепчет она мне, освободив свою руку, и я киваю, обалдев и от Ицика, и от впечатлений вообще.

– У него карточка в этой мастерской, – объясняет Ирка. – По этой карточке если печатать, то и платить не надо, понимаешь?

– Понимаю, да, – и я продолжаю кивать.

Хозяин переговаривается с Ициком, тот снова подходит к нам, смотрит на меня с подозрением, отводит Ирку в сторону, что-то шепчет.

Ирка мотает головой, показывает на мою сумку. Ицик бесцеремонно вываливает мои книги из сумки, смотрит на их количество, жует губами, что-то подсчитывая про себя. Потом снова возвращается к хозяину, дает ему свою карточку, кивает. Идет к Ирке, вытирает лоб, обматывает остатками серых волос потную лысину, тяжело дышит, бросает ей на иврите «жду вечером» и, наконец, уходит.

Ирка гордо смотрит на меня.

– Видала? Ицик, между прочим, доктор. Семейный. Я с ним на приеме познакомилась, он мою маму лечит. Ну и меня заодно. Гм. Осматривает, – Ирка хихикает, а потом продолжает уже серьезно: – Он обещал мне помочь с экзаменом. И еще много чего.

Она задумывается на несколько секунд, недовольно морщит нос.

– Не обманул бы только. Как думаешь – не обманет?

– Не знаю, – честно отвечаю я, – откуда мне знать. Давай уже печатать.

Глава вторая

Через пару дней Ирка заявила, что уходит из ульпана.

– Иврит я и с Ициком выучу, – сказала она гордо.

Потом помолчала и добавила:

– Да и переезжаем мы. Ицик нашел нам квартиру. Будет платить за съем. Половину. Правда, далеко от центра. Ну и что? – и она посмотрела на меня с возмущением, будто я с ней спорила. – Подумаешь, центр. Пуп земли.

Пуп не пуп, а улица Бен Иегуда. Вот мы сидим с Иркой на деревянной скамейке, уплетаем питу, набитую салатами и пахучими фалафельными пумпочками, хумус, нежный, словно губы влюбленного, вылезает наружу, пачкает наши щеки, мостовая плавится от солнца, булыжники похожи на раскаленные хлеба.

Вокруг нас кипит великий Город – торговцы кричат, туристы крутят головами, уличные музыканты изо всех сил дуют в свои саксофоны, прохожие бегут, подскакивая на ходу и вращая глазами от полноты жизни.

Улица Бен Иегуда гудит, плывет, да это и не улица вовсе, смотрите, смотрите, это река. Небесная река, переполненная прошлым и будущим.

– А экзамен? – спрашиваю я ее. – Тебе же еще к экзамену готовиться.

– Вот сидя дома и подготовлюсь, – машет она рукой. –

И потом, не забудь, – Ирка понижает голос, оглядывается, будто нас кто-то может подслушать, – у Ицика связи.

– А-а, – киваю я глубокомысленно, – ну тогда, да. Только тебе же потом работать.

– А я способная, – говорит она, запихивая в рот последний кусочек питы и вытирая руки и рот о мятую салфетку. Поворачивается ко мне, смотрит пристально:

– Мало того, что способная. Говорю же тебе – я заговоренная. Точно. Мне бабка нагадала однажды. У меня знаешь как все в жизни будет? Вот увидишь.

Я ей верю. Потому что она сама в себя верит, а это уже половина успеха. Только Ицик этот, мутный он какой-то. Лучше бы она...

– Ты вот небось думаешь, что Ицик меня кинет, так? – читает она мои мысли, усмехается. – А только не будет этого. Будет по-другому. Я его кину. Как только попользуюсь. Потому что в нашем деле так – или ты, или тебя.

– Да в каком деле-то? – улыбаюсь я, собираю наши с ней салфетки, выбрасываю в урну, беру сумку.

– В каком, в каком, – бормочет она, тоже поднимаясь с места, – будто сама не знаешь. В женском.

Я останавливаюсь, смотрю на нее, мне двадцать семь, вот уже три года, как я замужем. Но что же это за женское дело – без понятия.

– Ладно, – говорит она, – некогда мне тут с тобой. Пошли на остановку.

У нас с ней одна остановка, а автобусы разные. Пока стоим, договариваемся о следующей встрече.

– Давай за неделю до экзамена я к тебе приду? – спрашивает Ирка. – Позанимаемся вместе пару раз. Что скажешь?

Я не люблю заниматься с кем-то, но отчего-то соглашаюсь.

– Хорошо. Значит у меня, через... Погоди-ка... В августе, так?

– Ага, – кивает она, запрыгивая в свой автобус, – я тебе позвоню.

Ни в августе, ни в сентябре Ирка мне так и не позвонила, и в следующий раз я увидела ее уже на экзамене.

Но до экзамена еще надо дожить, и я дожидаюсь автобус и возвращаюсь домой, в нашу «Маленькую Одессу», как я называю эту квартиру из трех комнат, в которых с недавнего времени обитают три несовместимых по темпераменту поколения.

Знаете ли вы, что такое жить в Иерусалиме? Нет, вы не знаете, что такое жить в Иерусалиме на съемной квартире, на краю города, где ваша улица бежит не глядя, роняя камешки и смешки, ах, бугенвилия, ах, маколет, шалом, шалом тебе, Толстый Шломо, привет, привет тебе, Рыжая Сара, да, у меня все беседер гамур, да и разве может быть по-другому в этой благословенной земле молока и меда, где в розовом воздухе разлита тягучая и сладкая страсть?

Спроси меня – что за страсть такая – не отвечу. Столько лет прошло, да и страна давно другая. Не отвечу, но будто

лампочка внутри вспыхнет – есть такая страсть. И пребудет.

Улица бежит и бежит, и ты бежишь по ней, но вот уже пора бы и притормозить, стой, глупая, стой, цель, конечно, требует движения, но не все, что движется, приводит к цели. Потому что там, где кончается твоя улица, начинается чужая, арабская. И если ты не успеешь затормозить, то окажешься на другой планете, может быть, даже на Луне.

И дома тут другие, они приземистые, с квадратными окнами без стекол, людей не видно, а еще – здесь отчего-то прохладней, и эта каменная пыль вдоль домов.

Будто все еще идет стройка, или, наоборот, будто все вокруг оседает, крошится от времени, уходит в землю, на которой ни листика, ни травинки, одни худые собаки с чужими глазами, прочь, прочь, я хочу домой.

Дома пусть не просто, но хорошо. Вот бабушка в пестром халате, с повязкой на глазу, будто пират, ей только что удалили катаракту, она ужасно гордится, что теперь она «раненый боец», но кухонный пост не покидает, все тот же нож в руках, все та же картошка – жалобно пищит, лупоглазит, пока бабушка с нее «спускает шкурку», да не просто спускает, а кружевом – тонким, вологодским, этакой воздушной спиралью, «учитесь, пока я жива». Вот мама с папой только что вернулись с рынка, они устали, им жарко – и зачем вообще мы сюда приехали? – а из сумок тут как тут – выскакивают важные помидоры, бравый лук, удивленная морковь, мама ворчит на папу, папа ворчит на хитрых торговцев, подсунув-

ших – нет, ну ты погляди, вот еще – мятых персиков, хотя, если честно, мятые – еще вкуснее – господи, подсласти нашу жизнь.

Вот младший брат, у него смуглые щеки, широкие плечи, ему пятнадцать, от него пахнет табаком, а глаза похожи на олени, ох, девчонки по нему сохнут, как пить дать, да и почему бы не дать, я вас спрашиваю?

Муж еще на работе, а мне скорей за учебники.

«Вот так вся жизнь пройдет, и не узнаю, – мелькает в голове мысль, – о чем говорила Ирка, что за женское дело такое, и в чем там хитрость?» – мысль мелькает и пропадает, приходят другие, теснят грудь, обещают рай на земле обетованной.

Бабушка зовет кушать, на столе соль, масло, картошка в чесноке и с укропом, только селедку порезать и...

– Не еврейский какой-то у вас ужин, – усмехается брат, не отрывая телефон от уха, набирает в тарелку еды, уходит в комнату.

Солнце остается с нами на кухне. Круглый стол начинает крутиться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, минуты, часы, дни, недели, новая жизнь становится обыденной, все течет, все изменяется, и только наши трапезы неизменны – простая еда, долгая беседа, а все споры и обиды мы оставим на потом, потому что Город велик, закат горяч, рассвет близок.

Глава третья

Экзамен – как экзамен, не первый и уж точно не последний. Впереди и позади меня – ряды, ряды. Прилежные затылки, испуганные лица. Возраст самый разный – есть серьезные врачи, с опытом, а есть совсем молоденькие, не нюхавшие пороху, такие как мы с Иркочкой – только-только после университета.

– Получите ваше распределение, – уткнувшись в бумаги на столе, сказал мне пластмассовый дяденька из выпускной комиссии.

Его душил галстук, может быть поэтому он был такой недовольный.

– Ульяновская область, деревня...

– Я уезжаю в Израиль, – от волнения голос мой сначала куда-то взлетел, а потом упал. Получился писк.

Дяденька поднял оловянные глаза и неприязненно поглядел на меня.

– Вот как, – усмехнулся он, неожиданно потеплел и добавил: – Удачи вам.

А сегодня утром мне пожелала удачи вся наша «Маленькая Одесса». Папа, любитель пышного слога, сказал:

– Обязательно сдашь. Израильская медицина нуждается в специалистах высокого класса.

– Па-ап, – взмолилась я, – не говори так! Во-первых, сгла-

зишь, а во-вторых, ну какой я специалист? Я же только-только...

Но моего папу с толку не собьешь.

– Ничего, – бодро заявил он, – подучим, – и отправился на мацовную фабрику, перевязав руки в незаживающих мозолях.

Мама ничего не сказала, только перекрестила тайком, чтоб никто не увидел. Бабушка, конечно, увидела и фыркнула, потом повернулась ко мне:

– Иди быстро сдавай свой экзамен, работать пора, люди болеют.

Брат ткнулся, как теленок, поцеловал, заявив, что он в меня верит, ну и так далее.

Муж ничего не сказал, потому что еще не вернулся с ночной работы.

То есть, сказал, конечно. Так сказал, что я даже издалека услышала.

А теперь – вот он экзамен, один из многих и все-таки особенный, первый на чужой земле. Впрочем, чужой земли не бывает. Но в то время я про это еще не знала.

Ряды, ряды, лица, судьбы, перекасти-поле. А вот и Ирка – оглянулась, машет. «Привет, привет, – мол, – останься после экзамена, поболтаем». Я машу в ответ, киваю. Звучит резкий звонок. Сто пятьдесят голов склоняются над листами, поехали.

Вот этот – высокий, благообразный, с умным лбом, сдаст с

первого раза, быстро устроится на работу, а через десять лет станет заведующим отделением, полетит на международную конференцию с докладом, погибнет в авиакатастрофе.

Вот этот – худой, с аскетичным лицом, сдаст, а через три года покончит с собой из-за того, что жена уйдет к другому.

Вот эта, пухленькая, веселая, с ямочкой на подбородке – не сдаст, переучится на медсестру, выйдет замуж, родит четверых, однажды утром будет ехать на работу в больницу, взорвется вместе с автобусом.

Вот этот – маленький, подвижный, сдаст, станет заведующим реанимации, погибнет тридцать лет спустя от ковида.

Вот эта...

После экзамена в голове такая пустота, что кажется, мысли уже никогда в нее не вернуться.

– Ирка!

Мы садимся на краю клумбы, прямо на горячий плоский камень, разворачиваем тощие бутерброды, откручиваем термосам головы, эх, олимовский обед, зато не потолстеешь.

– Ну, рассказывай, – выпаливает Ирка с полным ртом, – как жизнь?

– Все так же, – отвечаю я, набрасываясь на сыр с хлебом. – А что у тебя?

Как Машенька?

Ирка кивает, прожевывает пахучую колбасу, глотает жидкий чай.

– Машка отлично, уже говорит всюю. Такая смешная.

– А как мама? – спрашиваю я, обжигаясь кофе.

– Мама, – Ирка смотрит вдаль, будто видит что-то неведомое мне и, удивляясь этому невероятно, поворачивается: – Мама вышла замуж.

– Вот как, – я даже не знаю, что на это сказать, – поздравляю.

– Спасибо, – бормочет Ирка, недоуменно качая головой.

– Как же ты теперь справляешься? Помогает она?

– Не очень, – откликается Ирка, – то есть совсем не помогает. Говорит, что влюбилась, что в первый раз в жизни с ней такое, что... ну, сама понимаешь.

И она пожимает плечами, а потом нехотя добавляет:

– И главное, если бы местный и богатый. А так... Такой же, как мы. Приехал совсем недавно. Вдовец. Старше ее лет на десять. Ни кола, ни двора. Видать, совсем с ума сошла. Даже неудобно.

– Да чего же неудобно-то?

– Юлия! Ты знаешь, сколько ей лет? Какая любовь в ее-то годы?

Я вспоминаю Иркину маму.

Маленькая, худенькая, подвижная. Глаза такие... Опущенные, вот. А про возраст трудно сказать, когда глаза опущены. Лет пятьдесят, не больше.

– Так ты радоваться должна, – заявляю я, – может, она счастье свое нашла.

– Может, – поджимает губы Ирка, – только отчего-то со

мною не поделилась. – и добавляет, недовольно скривившись: – Хосспади. Да и чем там делиться-то.

– Погоди, а кто же тебе с Машенькой теперь помогает? – спрашиваю я.

– Никто, – отвечает Ирка обиженно. – Все сама, представляешь?

Я не представляю, у меня еще нет детей.

– Ну хорошо, теперь про Ицика давай, – пытаюсь отвлечь ее от грустных мыслей. – Как Ицик поживает?

– А откуда мне знать, – зло отвечает она, – Ицик тоже свалил. Жена его поймала, случайно все вышло наружу, по глупости, знаешь, как бывает?

И опять я не знаю, как бывает, но мотаю головой, мол, а что дальше-то?

– А что дальше, – усмехается Ирка. – Узнала эта мегера – и про меня, и про квартиру. Заявилась однажды. Что было!

Она качает головой, вспоминая, потом начинает хихикать.

– Видела бы ты, как он от нее убежал!

И начинает хохотать, уже от души, и я хохочу следом, и в голову возвращаются мысли, и кажется, что экзамен не такой уж и сложный, Город не такой уж чужой, а ицики – ну ицики, да и бог с ними.

Мы созвонились с Иркой через месяц, узнали, что обе сдали экзамен и даже попали на стаж в одну и ту же больницу.

За две недели до начала стажа я поняла, что беременна.

– Ну-ка, покажись! – бабушка оглядывает меня с головы до ног, поджимает губы. – Первый день – день решающий! – провозглашает она. – Вот помню, пришла я на первое дежурство в гнойной хирургии...

Тошнота подступает к горлу, комната начинает кружиться. Так вот оно как – быть беременной.

– Бабушка, – бормочу я, – давай про что-нибудь другое.

– Можно и про другое, – с готовностью откликается она. – Вот помню, принимала я первые роды. Мне семнадцать, только-только закончила училище, а роженица – моя ровесница.

Комната на секунду останавливается, а потом начинает кружиться в другую сторону. Бабушка не обращает внимания на мое позеленевшее лицо, продолжает:

– Роды-то легкие, ребеночек в порядке, а плацента никак не отходит. Ну, я руку-то в матку и давай плаценту нащупывать.

Тошнота уже так близко, что, пожалуй, придется отпустить завтрак на волю.

– Бабушка! – умоляю я.

Тут вступает папа.

– Первый день – самый ответственный. Ты должна показать все свои знания. И еще – ответственность и еще раз ответственность. Вот помню я...

Мама ничего не говорит, но опять потихоньку меня крептит. Брат снова лезет целоваться, а муж еще не пришел с

ночной смены, но он все мне сказал вчера.

Я машу рукой, беру сумку, выхожу из квартиры. В сумке – кошелек, белый халат, слушалка и бутерброд. Ах, да, еще складной перочинный ножик. Пару недель назад на нашей остановке зарезали парня. Вышел араб из соседней деревни, ну и... Ножик мне дала моя робкая мама. Только он оказался очень тугой, сколько я ни пробовала, так и не смогла его открыть. Впрочем, чтоб и не понадобилось. А маме мы про это не скажем.

Глава четвертая

В автобусе меня укачало. Пришлось выйти на одну остановку раньше и пойти к больнице пешком.

Вот она – больница – стоит на горе, в ней так много белого камня и синего стекла, что она похожа на большой корабль, который меня не ждет.

На мне длинная юбка, кофта с рукавами до локтей, сумка через плечо. Сумка куплена в Старом городе, она мягкая, пахнет кожей и чужим прошлым.

В Старом городе наш небольшой табор побывал накануне, папа заявил, что каждый должен положить записку между камней в Стене Плача, в записке указать желание, и оно обязательно сбудется. Тут папа со значением посмотрел на меня, давая понять, что все мои желания должны теперь касаться только профессиональной карьеры.

Бабушка сказала, что все ее желания сбылись, как только она сошла с трапа самолета в Бен Гурионе, и беспокоить Бога лишними просьбами она не собирается, а брат, обуреваемый юностью, пожелал так много, что его записка оказалась слишком толстой и между камней не записывалась.

Маму в Старом городе интересовал христианский квартал, она мечтала купить освященный крестик, но в конце концов подумала и решила, что Бог, конечно, один, взяла полоску бумаги и написала в ней что-то мелким аккуратным

почерком.

Мы с мужем договорились загадать одно желание на двоих, чтобы уж наверняка, а папа так увлекся составлением маршрута по святым местам, что свою записку не приготовил, свалил все, как всегда, на маму, и ей пришлось писать папины просьбы к Богу на ходу, уже на автобусной остановке.

– Да знаю я твои желания, – отмахнулась она, когда папа попытался продиктовать, – уже записала.

День был жаркий, мостовые плавились и оседали, колибри, словно маленькие миксеры, взбивали тягучий воздух крепкими крыльями, солнце поднималось над Старым городом, раззадоривая и обещая.

Мы шли гуськом к Яффским воротам, у каждого в руках была бутылка с водой, а записки мы сложили в отдельный мешочек, который отдали бабушке, потому что она всегда помнила, что где лежит, а запертую дверь проверяла три раза.

– Старый город, – провозгласил папа, взмахнув рукой в направлении крепостных стен, – разрушался и возводился заново множество раз, стены, которые мы видим сейчас перед собой, были построены в 1538 году Сулейманом Великолепным, длина их около пяти километров, толщина каждой стены равна высоте и составляет пять метров, попасть в Старый город можно через разные ворота, семь из них открыты, а последние, восьмые, под названием Шаар а Раха-

мим, то есть Ворота Милосердия, замурованы и откроются лишь тогда, когда придет Мессия.

– А когда он придет? – поинтересовался брат.

– Если будем плохо себя вести, то очень скоро, – успокоила его бабушка.

Мама промолчала. По ее понятиям, Мессия уже приходил, но отчего-то люди его не послушали и не перековали мечи на орала, а потому в дискуссию не вступала, крутила по-птичьи головой, искала Русское подворье.

Ленивые торговцы сидели вдоль улиц, поглядывали на нас, усмехаясь, окликали громко, как глухих. Все в нас было им смешно – и белая, не просоленная потом кожа, и неуверенные взгляды рожденных не здесь, и бабушкина кружевная панамка, и мамины руки, не привыкшие к тяжелому труду, и мои глаза, синие от неба и удивления.

Только папин гордый вид и рыжая борода смотрелись, пожалуй, неплохо, а брата даже могли принять за своего – брат был смугл и красив, как молодой бог, а молодых богов здесь всегда любили.

– Пятьдесят, пятьдесят, – кричал по-русски один из них. Он бежал за нами следом уже полторы улицы, иногда обгонял, тряс кожаной сумкой перед лицами, выкрикивал разные цифры на ломаном русском, начал со ста, а теперь вот:

– Пятьдесят, пятьдесят, хороший.

Хорошим были все – и он сам, и сумка, и мы, и Город, и эти стены, но покупка сумки не входила в наши планы, хо-

тя, конечно, это была не просто сумка, а Мечта. В ней было несколько кармашков, длинный ремешок, закрывалась она на такой замочек, который было бы здорово время от времени трогать, крутить...

– Сорок, сорок! – закричал торговец, не сбив дыхания и не потеряв равнодушного выражения лица.

Может, это профессиональная гордость, а может, восточный пофигизм, но казалось, что ему глубоко наплевать – купим мы эту сумку или нет, и от этого еще сильнее хотелось ее иметь.

Я посмотрела на мужа, муж посмотрел на торговца, тот подскочил, сумка сама прыгнула мне в руки, зашуршали бумажные деньги, торговец ухмыльнулся и пропал в жарком мареве, растворился, будто его и не было. Осталась сумка, я прижала ее к животу, в котором бултыхался крохотный Данька, и вдруг показалось, что все будет хорошо, и Бог, который главный по запискам, очень даже добрый.

Все будет хорошо, но сегодня все по-другому. Сегодня – вот она – больница – стоит на горе, в ней так много белого камня и синего стекла, что она похожа на большой корабль, который меня не ждет.

Если бы я знала, как много у меня впереди вот таких первых свиданий с незнакомыми белыми кораблями, может быть, испугалась бы и повернула обратно. Но Бог милостив, и из всех записок, которые мы вкладываем в его стены, он выбирает лишь те, в которых написано «не дай узнать своего

будущего». Потому что это единственная просьба, которую он умеет выполнять.

– Шалом. Меня зовут...

Передо мной стоит доктор Шуламит Голан, у нее смуглое лицо, жесткие скулы, острый взгляд. Шуламит наплевать, как меня зовут. Позади нее маячат десять лет работы военным врачом и тысячи неординарных ситуаций, а впереди – ночное дежурство в терапии с помощником-стажером, которым оказалась я, и никому не важно, что сегодня первый день моего стажа, что на иврите я объясняюсь больше жестами, чем словами, что я всего полгода в стране, где на любое «почему» есть один ответ – «потому», а на местном – «каха».

Пожми плечами, выдохни горячее «каха» – и ты поймешь то единственное, что нужно знать о восточной философии: чтобы примирить человека и жизнь, надо испытать смерть. Ну или хотя бы первое дежурство.

– Что ты умеешь лучше – заполнять истории болезни или брать кровь?

Шуламит смотрит на меня не мигая, словно через прицел. Я молчу. Меня тошнит. Я не умею ни того, ни другого.

– Понятно, – ее лицо все так же бесстрастно. – Значит, будешь брать кровь. Вот тебе тележка.

Приходилось ли вам идти на собственную казнь? Я схватилась за тележку, утыканную пробирками, шприцами, иглами, листками с именами и номерами палат, и начала свое

восхождение.

Это был не страх. Страх возможен там, где есть выход.
До утра оставалось 18 часов.

Глава пятая

Ирка появилась в отделении в 8.15 утра.

– Привет! Ну как было?

– Нормально, – ответила я.

А было вот как. Пятнадцать новых поступлений, две реанимации за ночь, тридцать две попытки взять кровь, несколько из них успешных. Самое трудное брать кровь у старичков, но не потому, что они старенькие и их жалко, и не потому, что у них вены тоньше и лопаются, а потому, что есть такие руки, на которых татуировки с лагерными номерами, это ужасно отвлекает и плакать хочется.

– Нормально, – ответила я.

А что еще скажешь? Больничный корабль продолжал плыть, но меня уже не тошнило. Видимо, я привыкла к качке.

– Спала? – и она посмотрела на меня с беспокойством.

Иркино первое дежурство сегодня вечером, и ей очень хочется знать, как оно бывает.

– Ни минуты, – покачала я головой, – зато я научилась брать кровь.

– За одну ночь? – не поверила Ирка. – А можешь меня научить?

– Ага, – сказала я гордо. – Видишь эти пробирки? Что там написано? Палата номер 201. Вот и пошли, на больном

покажу.

Это были пробирки с утренней тележки. В каждом отделении положено брать кровь два раза в день – утром и вечером. Утренняя тележка гораздо объемистей, чем вечерняя, но и врачей гораздо больше, так что дело идет бодро и весело.

И на этот раз – не успели мы с Ирккой обменяться парой фраз, а уже ни одной пустой пробирки не осталось, кроме вот этих трех для палаты номер 201, где лежит больной по фамилии... Не разберу, как это читается. Ладно, по имени будет проще.

– Здравствуйте, Шломо, утренний анализ крови.

Шломо – огромный волосатый мужик, насмешливо оглядел сначала меня, потом Иррку, закатал рукав пижамы и обнажил руку с венами, каждая из которых была толщиной с мой палец.

– О, смотри, – шепнула я Иррке украдкой, – на таких венах легко учиться. Я тебе один раз покажу, все как по маслу пойдет, вот увидишь, а вечером, на дежурстве, ты уже сама его уколешь.

Иррка посмотрела на меня недоверчиво, а на Шломо испуганно.

– Ну, давай, – шепнула она мне, – показывай. Все равно деваться некуда. Не домой же убегать. Да и где он – тот дом теперь?

Я ловко приладила иглу к шприцу, призывно улыбнулась

и попыталась отвлечь Шломо вопросами. Но иврит мой хромал, да еще ночь бессонная.

– Тарим кнафаим, – попросила я его вежливо, имея в виду, что неплохо бы ему чуть-чуть мне помочь и поднять плечи, то есть плечо, вот это, левое, да, тогда я смогу наложить жгут и...

– Не выросли еще, – бодро ответил он мне на чисто русском языке.

– Кто не вырос? – и я ошалело поглядела на Шломо.

– Крылья, – усмехнулся он. – Ты же сказала «кнафаим», а слово «кнафаим» на иврите означает «крылья». Вот и получилось, что ты попросила меня поднять крылья. Но может быть ты имела в виду «ктефаим» – плечи?

Ирка прыснула.

Юморист этот Шломо. Господи, что ж так ноги-то горят? А это потому, что я уже двадцать четыре часа по Белому Кораблю гоняюсь.

Так что там про крылья? Жгут наложен, Шломо морщится, потому что я слишком долго прицеливаюсь.

– Откуда вы знаете русский? – это Ирка пытается его заболтать.

– Я родился в России. Давно, – отвечает он ей, одновременно наблюдая за моими дрожащими руками. – Девочка, – это уже мне, – ты, главное, не бойся. В мою вену трудно не попасть.

Тут возникает пауза длиной в комариную жизнь.

– Но у тебя получилось, – с удивлением замечает Шломо и с раздражением сдергивает жгут с посиневшей руки.

В локтевом сгибе расцветает синяк, я краснею до слез, пустой шприц с иглой летит в специальный контейнер.

– Как я понял из вашего с ней шепота, – обращается он к Ирке, кивая головой в мою сторону, – ты, девонька, тоже кровь брать не умеешь. А давайте-ка вы сейчас пойдете и приведете мне нормального доктора, а?

Мы опускаем головы, пятимся, плетемся к Шуламит. Она выслушивает нашу корявую просьбу, играет желваками, идет в 201 палату, возвращается с полными пробирками через тридцать секунд. А потом, в первый раз за сутки, улыбается.

– С доктором Заболоцким непросто дело иметь.

– С доктором? – спрашиваем мы с Иркой хором.

– Ну да, а вас что же, не предупредил никто, что в 201 палате лежит заместитель заведующего больницей? – удивляется Шуламит, качает головой, а потом кивает. – Впрочем, больной есть больной, так что, может, и правильно, что не предупредили. А сейчас, – и она смотрит на часы, – пора на обход. Утреннего заседания сегодня не будет. Кто не успел выпить кофе, у того осталось ровно пять минут, чтобы сходить в туалет.

За пять минут я успеваю позвонить домой. К телефону подходит бабушка и кричит в трубку так, как будто хочет докричаться до больницы без помощи телефона.

– Как было? А? Ничего не слышу! Говори громче! Тяжелых привозили?

Бабушка представляет себе мою больницу чем-то вроде военно-полевого госпиталя, но сегодня я ее очень хорошо понимаю.

– Ты не слышишь, потому что не даешь мне вставить слово, – я пытаюсь вставить это самое слово, но оно улетает, не оглянувшись.

– Ничего не слышно, – продолжает тарыхтеть бабушка без остановки, словно печатная машинка. – Ну ладно, когда придешь – расскажешь. А ты когда придешь?

И она кладет трубку, не дождавшись моего ответа, поэтому мне некому пожаловаться, что после бессонной ночи никто и не подумал меня отпустить домой, что впереди обход, и еще целых семь часов до автобуса, то есть восемь часов до дома, и теперь так будет всегда, потому что когда корабль плывет – юнга не спит, а корабль плывет без остановок, и это – правильно.

Глава шестая

Знания и опыт – две совершенно разные штуки, а если пофантазировать, можно даже сказать, что знания и опыт – это два полюса, соединенные меридианом труда – ежедневного, упорного, до кровавых мозолей.

Сейчас, много лет спустя, отдельные картинки прошлого всплывают в памяти, да такие яркие, что кажется, что не было невзгод и печалей, а только солнце и белокаменный Город, только нежные оливы в Гефсиманском саду, склоняющие головы перед путником, остановись, обними ствол, подставь ладони и будет тебе счастье.

Не спрашивайте меня про счастье, ибо все просто в этом саду, куда никогда не придут стражники, бряцая оружием, чтобы забрать того, кто сидит в тени олив с учениками, ведь есть только одна Божья заповедь, и не нужны скрижали, запомни и соблюдай, а заповедь эта проста, как ящерица на горячем камне, как облако в полуденном зное, как первая улыбка ребенка, и не толкуйте мне о любви, попробуйте для начала не убивать друг друга.

Знания и опыт – две совершенно разные штуки, но как только ты перестаешь бояться и начинаешь говорить на незнакомом прежде языке – пусть с ошибками и ужасным акцентом – ты выпрыгиваешь из теории в практику, а уж если ты отваживаешься на этом языке шутить – тут же стано-

вишься опытным полиглотом.

Через пару недель стажа я начала понимать иврит. Именно понимать, а не складывать слова на полку памяти, чтобы потом безуспешно рыться в поисках единственно верного. Теперь слова сами заскакивали мне в голову, не убегали и не прятались, я говорила на иврите во сне и даже пыталась отвечать на бесконечные вопросы – врачей, медсестер, пациентов.

– Доктор, доктор, а вы настоящий доктор? Уж больно молоденькая...

Старая пациентка протягивает ко мне руку, в руке пластиковый стакан.

– Да, я доктор, только стажер, – отвечаю я.

– Пить, – шепчут ее пересохшие губы, – дай мне пить.

Наполняю стакан водой, подаю, усаживаюсь на край кровати.

Рядом мерно капает капельница, по капле в секунду, будто само время, продлевающее старушке жизнь.

– Посиди со мной, – просит больная и смотрит ранеными глазами.

Я сижу и ерзаю, меня только что послали в лабораторию узнать анализ спинномозговой жидкости у одного пациента, а я сижу и слушаю грустный рассказ про долгую жизнь, про детей, которые не навещают, про внуков, которые в Америке, про дом престарелых, который «очень даже ничего». На словах «а сегодня вот – операцию срочную будут делать» я под-

скакиваю и покрываюсь холодным потом.

Оказывается, у этого божьего одуванчика сегодня срочная операция, это значит строжайшее NPO (nilperos) – ничего через рот, а я ее только что от души напоила...

Я кидаюсь к Шуламит, Шуламит звонит в операционную, разговаривает с анестезиологом, договаривается отложить операцию на пару часов, обжигает меня презрительным взглядом, отсылает выяснять тот самый срочный анализ, который я до сих пор не выяснила, ну что же я за бестолочь, и как я про это бабушке-то расскажу?

В лаборатории другие вопросы – меня спрашивают номер карточки больного, имя и фамилию, год рождения, чтобы не дай бог не перепутать, потому что есть два вида врачебных ошибок: первый – это тот, который по случайности – и его можно простить, а второй – который по легкомыслию – его не прощают.

Возвращаюсь бегом в отделение, докладываю о результатах, но все не так просто, теперь вопросы задает Шуламит: она спрашивает меня, о каком именно заболевании можно думать при вот таком анализе, и я готова провалиться сквозь землю, потому что не знаю, и говорю наобум, надо же, мой ответ правильный, может, это Бог меня спас, но только для того, чтобы испытать и проверить на третий вид врачебной ошибки – не возгоржусь ли я, не подумаю ли, что знаю больше других, когда на самом деле, еще ничего не знаю.

И так день за днем. Бесконечные вопросы, упорные поис-

ки ответов. Ни погоды, ни личной жизни, ни новостей по телевизору. Кажется, у мироздания накопилось столько ловушек, загадок и тайн, что становится непонятно, как оно терпело и не беседовало со мной раньше.

Раньше. Все то, что составляло мою жизнь еще пару лет назад, вдруг скрылось в тумане, не забылось, нет, но потеряло очертания, мне стало казаться, что я только что родилась, и вот-вот закричу, вернее, заговорю, как все те, кто меня теперь окружал – гортанно, горячо, с чувственным Р-р-р и страстным Х-х, и жесты мои станут выпуклы, а взгляды будут прожигать насквозь, даже сквозь полуопущенные веки.

Мой рабочий день длится и длится, а с приходом домой не кончается. Дома меня ждет бабушка – в прошлом опытная акушерка и фронтовая медсестра, в настоящем предводительница табора и мой личный профессор медицины.

После обсуждения сложных случаев и непонятных диагнозов, после дотошных вопросов о том, отличилась ли я, и если да, то каким именно образом, а если нет, то почему, бабушка просит проверить ее собственное домашнее задание.

Раз уж все семейство впало в детство и отправилось учиться, она тоже решила не отставать, пошла и самостоятельно записалась в улыпан для пенсионеров, и теперь каждое утро брала мою розовую помаду, красила губы, сложив их бантиком, поправляла накладной кружевной воротник на желтом платье а ля «главный цветок на клумбе» и отправлялась на учебу.

Бабушка скупо рассказывала про свои победы, но я уверена, что не одно мужское сердце было разбито и не одна пенсионерка хваталась за голову, когда моя бабушка заходила в класс.

Как только с уроками было покончено, она уходила хлопотать на кухню, семейство подтягивалось к ужину, за окном начинали гоняться светлячки, но никто на них не смотрел и не загадывал желаний, все сидели и слушали папу, который аппетитно и доходчиво рассказывал о том, что очень скоро наша жизнь обязательно наладится, его изобретения наконец рассмотрят и позовут на работу в научный центр далеко в горах, туда, где деревянные домики утопают в цветах, а небо набито звездами, где каждый вечер наша мама будет качаться с книжкой в гамаке под классическую музыку из соседских окон, а он сам сидеть всю ночь напролет над новым изобретением, идея которого пришла ему в голову совсем недавно, во время работы на конвейере мацовой фабрики, вот послушайте...

Именно на этом месте папин рассказ обычно прерывался – или начинались разборки у соседей напротив, с гортанными криками и швырянием сковородок, или кошки орали, устремив невозмутимые египетские морды в небо, а если время переваливало далеко за полночь, то муэдзин из ближней мечети, прочистив горло, начинал намекать на скорый рассвет – протяжно и безнадежно, будто одинокий ослик в пустыне.

Очарование папиной сказки о научном городке в горах рассеивалось, словно туман над Гефсиманским садом, спать, спать, завтра случится новый день и новые маленькие победы – над собой, всегда над собой, потому что над остальным миром ты не властен, и слава богу.

Лишь бы только древние оливы укрыли, лишь бы только друзья не предали.

Остальное можно перетерпеть. Ведь не зря бабушка вздыхает и повторяет каждый вечер:

– Бог терпел и нам велел, – и смотрит на дедушкин портрет в деревянной рамке – вот он молодой и веселый, в ладно сидящей военной форме, и взгляд его смел и прям, и лагерных охранников не видно и не слышно, слава тебе Гефсимания, укрывающая от бед, здравствуй, Земля Обетованная.

Глава седьмая

Русских врачей в больнице было много. Нас называли русскими, а не еврейскими, по стране исхода.

– Но выходит, всех евреев вообще нужно звать египтянами? – допытывался Илюша. – Мы же с вами из Египта вышли?

Илюша в прошлой жизни был профессор хирургии и коренной ленинградец, а в этой – такой же стажер, как и мы с Ирккой, только на пятнадцать лет старше. Ему не пришлось сдавать экзамен из-за солидного стажа работы, поэтому он попал в больницу, как говорила моя бабушка, с корабля на бал, два месяца ульпана для врачей – и в строй.

Илюша высок, обаятелен, умен, а самое главное, очень хорошо умеет всем этим пользоваться. Так хорошо, что многие женщины вокруг него в опасности, особенно такие, как Ирка.

К тому моменту, когда мы с Ирккой попали в отделение общей хирургии, мы уже всю лопотали на иврите, умели брать кровь из любой вены почти с закрытыми глазами и, самое главное, начали понимать, что медицина – это непроходимый лес, а не цветочная поляна.

За это время мой живот вырос до невероятных размеров, а Ирка разуверилась в местных мужчинах, которые, по ее словам, «не умеют найти подход к современной девушке». В

переводе на обычный язык это означало, что на Ирку в больнице не очень-то обращали внимание, и ее это задевало. И вдруг – о, счастье! – отделение общей хирургии и Илья. Может, и не Илья-пророк, но почему же некоторые смотрят на него с обожанием?

Сказать, что Ирка сошла с ума – это ничего не сказать. Она даже внешне изменилась. Впрочем, с этого всегда все и начинается.

– Лад, послушай, нет, ну послушай, – Ирка наклоняется ко мне через стол и жарко шепчет. – Ты видишь его?

– Кого? – спрашиваю я, положив руку на живот и нащупывая беспокойного Даньку, вот ведь брыкается.

– Кого, кого, – ворчит Ирка, – Илюшу, конечно.

– Илюшу?

– Ну да, вон он идет, погоди, я ему помашу, чтобы с нами сел.

Илья улыбается, завидев нас, подходит, ставит свой поднос на столик, усаживается, вальяжно закинув ногу на ногу. Что и говорить, умеет человек произвести впечатление, уж на Ирку-то точно. Вон как она на него смотрит, аж рот открыла.

– Привет, девчонки, как жизнь?

Илюша всегда в хорошем настроении, всегда излучает уверенность, хорошо с ним рядом, повезло его жене. Даже местные доктора в отделении относятся к нему уважительно, тем более что хирург он оказался от бога, что уж говорить

про медсестер и пациенток.

Про руки его по больнице легенды ходили, рассказывали, что он умеет руками любую боль заговорить. Положит, бывало, руки на живот, голову так по-особенному к плечу наклонит...

Руки, если приглядеться, ничего в них особенного и не было. Небольшие, а пальцы длинные. Разве что – нежные. Пожалуй, очень даже нежные. Я же помню, как пациентки таяли от его рук.

Вот и Ирка моя тает. Заглядывает в нахальные оливковые глаза и тает, а чего, спрашивается, ах ты, дурочка.

Илюша оборачивается ко мне и подмигивает:

– Как там наш сын полка?

Данькой интересуется, и я уже готова простить Илюше профессиональные навыки сердцееда и даже расцеловать. И как он это умеет, а?

– Брыкается, – отвечаю я, – то пяткой, то локтем, непоседа.

– Это правильно, – кивает Илюша, – парень не должен на одном месте сидеть. Парень должен жизнью интересоваться, брать ее в оборот, объезжать, как...

Он прерывает сам себя, оборачивается к Ирке.

– Ну, а как поживает наша Иринка Слезинка?

И смотрит на нее. Смотрит не так, как слова говорит. Будто во взгляде его совсем другие слова. О другом. И обещают другое.

Мне вдруг становится ясно, откуда появилось выражение «положил на нее глаз». Истинно так – положил, положил, как пить дать.

И тут наступает пауза в нашем разговоре, недолгая вроде, а особенная, когда кажется, что двое молчащих начинают при всех раздеваться.

– Почему же это я – Слезинка? – говорит наконец Ирка, говорит «на автомате» первое, что приходит в голову, а у самой в глазах огонь, да и не глаза это вовсе, а жажда, страсть, рассвет над Старым городом.

– Потому что глаза у тебя такие, – кивает Илюша, ищет ложку, находит, начинает есть суп.

– Какие? – замирает Ирка, забывая про обед, а заодно и про ужин.

– Будто рассвет над Старым городом, – говорит он, берет салфетку, промакивает губы.

Ирка смотрит на его губы и ничего не отвечает. Ждет. И чего ждет, глупая?

Илюша этот безвыходно женат, плюс две дочки-погодки. И пусть жена его пока в России, но через две недели приезжает, он сам рассказывал, и это навсегда.

Ох, Ирка, Ирка.

– Кстати, – восклицает Илюша, будто эта мысль ему только-только пришла в голову, – а знаете что, девчонки? Кто хочет со мной пойти встречать рассвет на крышах Старого города? Есть такая экскурсия.

Ирка шепчет:

– Я хочу.

Закашливается, поперхивается, чуть отдышалась, повторяет уже громче:

– Я хочу. А когда?

Я смотрю на этих двоих, а вижу город в розовой постели, купола его – как головы – одна подле другой, стены его – как руки обнимающие, да так крепко, что не расцепить, небо над ним – крыша для влюбленных, солнце, только-только появившееся из-за горизонта, – шепот, переходящий в крик.

Есть такая экскурсия – любовь. Жаль, не все из нее возвращаются.

Глава восьмая

Рассвет над Старым городом явился, небо лопнуло, словно разноцветное яйцо, солнечный желток выкатился, Иркина жизнь наполнилась неведомыми прежде красками.

За последующие две недели я успела узнать про Илюшины привычки и гастрономические пристрастия почти все. В те редкие минуты, когда мы с Ирккой усаживались на большой плоский камень во дворе больницы, чтобы подставить лица солнцу и передохнуть, она принималась рассказывать про своего возлюбленного, глаза ее сияли, и казалось, что чем нестерпимей это сияние, тем дольше оно продлится.

Но Илюша был не Иркойным, а чужим, он принадлежал неизвестной нам женщине Людмиле, которую мне было заранее жалко.

– Зачем он тебе, Ирка? – однажды спросила я. – Это же не кино. Жизнь. А ты ее просто так третишь.

– Почему это просто так? – взвилась она. – Вот еще думаешь.

– Да потому, – вздохнула я, – потому. Все равно вам вместе не стареть. А все остальное не так и важно.

– Ты не можешь знать – что важно, а что нет, – отвечала мне Ирка. – А может быть я завтра утром не проснусь. Или он. А пока – пусть крошка, но счастья.

Я пожимала плечами, потому что возразить мне было

нечего, и шла проверять, как дела у Розочки.

– Розочке сегодня получше, что скажете, доктор?

Это Изя, Изю в нашем отделении знают все, у него трясутся руки и слезятся глаза, Изя в прошлом тоже врач, но это было давно, они из Киева.

– Мы из Киева, – снова и снова рассказывает он свою историю, не историю болезни, а историю жизни, и теперь ее знают все, даже те, кто не понимает по-русски.

– Мы из Киева. В Израиль стареть приехали. Если вместе – стареть не страшно.

Изя говорит короткими предложениями, с придыханиями, будто боится себя расплескать.

– Розочка работала в детском саду, была заведующей, ах, если бы вы знали, как ее любили. Ее невозможно не любить, мою Розочку. И красивая, и умная, и работающая. А какая умелица! Розочкины работы выставлялись на всесоюзных выставках, их даже в кино брали. Она шила народные костюмы, моя Розочка. Ну, знаете, совсем как раньше. Кошники там, сарафаны. Я-то в этом не понимаю ничего, но специалисты говорили, что у нее уникальные руки.

В этом месте Изя обычно поворачивается к жене и берет ее за руку.

Руки у «печеночников» – они особенные. Высохшие, желтые, в красных крапинках на ладонях. И еще запах. Перезрелых яблок.

Изя берет Розочку за руку, а лицо такое... Тот, кто на него

в этот момент смотрит, обязательно глаза опускает.

Изя берет Розочку за руку, продолжает:

– До Киева мы с Розочкой жили недалеко от Чернобыля, вот уж не повезло, так не повезло. Но, с другой стороны, не может же всю жизнь человеку везти, правда? Даже как-то несправедливо.

Тут Изя обязательно заглядывает в глаза собеседнику и улыбается, а может, это и не улыбка.

– Из-за этого Чернобыля мы и заболели. А теперь вот лечимся.

Так и говорит – «мы». Хотя сам – здоровяк румяный. Будто хочет часть болезни на себя принять.

– Розочке сегодня получше, что скажете, доктор?

Розочке не может быть получше. Она умирает, и это понимают все, кроме Изи.

– Пожалуй, получше, – соглашаюсь я, то есть – вру. Вру и нестерпимо краснею.

Опухоль в печени такая огромная, что неоперабельна, плюс метастазы.

Розочку скоро переведут в хоспис.

– Я очень надеюсь на вашу медицину, – кивает Изя. Смущается, поправляет сам себя: – То есть теперь уже нашу.

Молчит, смотрит на меня, я киваю.

– Мне тут рассказывали про хоспис. Вроде как временно, если я правильно понял. Ну, пока не начнут лечение.

Я смотрю на него, собираюсь с силами, чтобы объяснить,

что такое хоспис.

– Да нет, конечно, правильно, – машет он рукой. – Я очень даже понятливый. А ты знаешь что, деточка, ты иди, мне с Розочкой надо посидеть, помолчать. Ты иди, иди, у тебя небось и другие больные есть.

И Изя ласково выпроваживает меня из палаты.

Я продолжаю обход. В животе тихо-тихо бултыхается Данька. Надо срочно о чем-то хорошем, чтоб он совсем там не грустил.

– Ладка, ты слышала новость? – подбегает ко мне Ирка.

Брюки белые, в обтяжку, а ноги у нее что надо, блузка с вырезом, халат белый, короткий, приталенный. Надо же, как она похорошела. Кожа на лице будто светится. Вот тебе и Илюша.

Ирка отыскала меня, чтобы сообщить, что послезавтра, аккурат в йом ацмаут, то есть День независимости, все отделение собирается на пикник в лес, недалеко за городом.

– А ты знаешь, какие тут леса? – восклицает она, тараща глаза от восторга. —

Сосновые, густые, и шишки, шишки под ногами. И еще сказали, чтобы только молочное с собой приносить, ну так я сыр притащу и хумус, а Илюша бутылку белого, вот классно будет!

Я киваю. Данька тычется пяткой, радуется тоже.

– А что за лес? – спрашиваю я.

С недавних пор наше семейство равнодушно к лесам

Израиля, потому что папа наконец-то бросил мацовную фабрику, его взяли на работу в Керен Каемет, это что-то типа лесного хозяйства, плюс строительные работы, взяли простым рабочим, но он утверждает, что главным лесником, и ему это ужасно подходит, еще бы – с бородой-то.

Вот уже пару недель как папа высаживает саженцы на склонах холмов вместе с такими же кандидатами и докторами всесоюзных наук, и это, наверное, здорово.

– Знаешь, как у нас птицы по утрам поют? – спрашивает он у меня и косится на маму.

Мама поджимает губы, а сама хочет уточнить про небо в звездах и домик в горах с гамаком в придачу, вот еле сдерживается, я же чувствую.

– Здорово! – подбадриваю я папу.

Бабушка объясняет ему, как разводить костер без спичек и как определять стороны света в лесу, если заблудился, но папа заявляет, что заблуждаться не собирается, а костры нельзя, потому что пожары.

– А что за лес? – спрашиваю я у Ирки.

– Рядом с Латруном, слыхала про Латрун?

Я киваю. Кто же не слышал про монастырь молчальников.

– Здорово, – отвечаю. – Говорят, очень красивое место. Есть такая легенда, вроде древнего поверья, что если прийти в этот монастырь с суженым и дотронуться до ниши в каменной стене, то уже всю жизнь не расстанешься с этим человеком.

– Вот! – восклицает Ирка. – А я про что? Это, моя дорогая, судьба. А судьбе нельзя противиться. Подумаешь, Людмила.

И она фыркает, круто поворачивается, уходит по коридору, и шея ее похожа на стебель кувшинки, а бедра качаются, будто лодка на волнах, и мне становится ее жалко, а вот отчего – до сих пор не пойму.

Глава девятая

На пикник меня провожали всем семейством.

Раннее утро, двор, заросший травой и розами, во двор выходят окна четырех квартир. Я стою у подъезда, я круглая, как летний день, на мне желтая майка и синий комбинезон, папа протягивает рюкзак, мама потихоньку крестит, бабушка делает вид, что не замечает, дает мне последние наставления – не забывать пить, на холодных камнях не сидеть, иметь голову на плечах.

Я киваю, обещаю, сообщаю провожающим, что это пикник, а не военный поход, улыбаюсь, поправляю рюкзак. В рюкзаке у меня все самое необходимое – тонкое покрывало, расшитое петухами, от бабушки, панамка с широкими полями от мамы, термос со сладким чаем от папы, колода засаженных карт от брата, а сверху – бутерброды с сыром и вареная картошка с солью, все это аккуратно упаковал и уложил муж.

– Пошли вместе, – заныла я, – сказали, что можно парами.

– Я не могу, у меня суточная смена, ты же знаешь, – и он умчался на работу в дом инвалидов, пощекотав Даньку через джинсовый живот.

На меня уже пару недель ничего кроме огромного джинсового комбинезона не налезало, спасибо соседке Шушанне, с недавнего времени она стала снабжать меня вещами для

беременных, потому что муж ее бросил и больше ей беременеть было не от кого.

После развода оказалось, что Шушанна очень богата – у нее осталось трое детей и твердая вера в то, что плохих людей на свете не бывает.

– Люблю с новыми соседями знакомиться, – заявила она в тот памятный вечер, когда мы с мужем постучались к ней в квартиру и на ломаном иврите сообщили, что «ищем раковину, потому что засорились инструменты».

Раковина прочищена, вечер переходит в ночь, а мы все сидим и сидим у Шушанны на кухне, пьем густой, как иерусалимская ночь, какао, который здесь называют шоко, слушаем неторопливую речь.

Про что ее рассказ? Про то же, что и любой другой. Про папу из Вильнюса и маму из Берлина, про всех, кто погиб, и про тех, кто выжил, чтобы однажды расцвела в Иерусалимском саду вот такая Роза, встретила на нашем пути и покрасила непростую жизнь в добрые краски.

– Люблю с новыми соседями знакомиться, – повторяет она, смотрит на нас и усмехается: – Правда, иногда после этого случаются странные вещи.

И она рассказывает, как пару лет назад познакомилась с молодой соседкой, быстроглазой, смешливой, одинокой, с двумя мальчишками-погодками и опытом двух неудачных браков за спиной.

Женщины подружились, ведь у них было столько обще-

го – увлечение классической музыкой и бриджем – в самом начале, затем – шикарная Шушаннина библиотека, которая тоже стала почти что общей, а очень скоро общим стал и Шушаннин муж. Через пару месяцев он собрал свои вещи и ушел жить на этаж выше. Хорошо хоть потом они переехали в другой город.

Сегодня Шушанна проснулась рано, чтобы полить розы во дворе, а заодно проводить меня на пикник, вместе со всем семейством.

Вот она стоит босиком на пороге, вся такая ладная и уютная, у нее белая кожа, от нее пахнет свежестью и сдобой, ну и дурак этот ее муж, впрочем, как и многие другие.

– Когда будешь гулять в лесу, – говорит она мне, – смотри под ноги. У нас тут змеи водятся.

Услышав слово «нахаш», что на иврите означает «змея», мама испуганно хватается за сердце, бабушка за голову, а папа за русско-ивритский разговорник. Мне же представляется не змея, а эта самая бывшая соседка, ползет и шипит, ужас просто.

– Спасибо! – отвечаю я. – Буду внимательно смотреть, еще бы.

Наконец меня, мой живот с Данькой и рюкзак с едой запихивают в автобус, и путешествие в Латрун начинается.

Пунктом сбора объявлена автобусная остановка недалеко от больницы, я приезжаю одна из последних, почти все в сборе, только Илюши не хватает. Ирка крутит головой из

стороны в сторону, аж приплясывает от нетерпения, ну, где же он?

Наш отряд возглавляет Шуламит, она пришла одна, без пары, хотя у нее есть жених, но он сейчас, как она нам сообщила, «на задании», – а что за задание может быть у офицера специальных войск, нам лучше не знать.

Про специальные войска мне объяснил брат, у которого скоро призыв, он мечтает попасть именно в такое подразделение, в котором «наши» переодеваются в арабов и...

Дальше я боюсь слушать и затыкаю уши, а брат усмехается и смотрит снисходительно, как будто это не я учила его лупить обидчиков и прыгать с гаражей каких-то десять-двенадцать лет назад.

Мы стоим на остановке, ждем специальный прогулочный автобус – врачи, медсестры, санитарки, все нарядные, все гомонят, радуются выходному, у каждого в руках бутылка или термос, а за спиной увесистый рюкзак с едой.

Чуть поодаль – молодые хирурги Фуад и Сара, они стоят в обнимку, у них любовь, он дует ей в шею, она смеется – тихо и счастливо, смотреть на них приятно, потому что они подходят друг другу, как два дерева, сцепившиеся ветвями: он – высокий, светловолосый, хоть и араб, она – кудрявая, кареглазая, улыбчивая, а фигура – будто вот только что вышла из пены морской, впрочем, у многих в этом городе – такие.

Сара – еврейка, Фуад – араб, и это – тупик, но я приехала недавно и про это не знаю, я смотрю на них и любуюсь, ожи-

даю скорой свадьбы и думаю о том, какие красивые у них будут дети.

– Ну вот он, наконец-то! – восклицает Ирка у меня за спиной, я оборачиваюсь, вижу, как из подъехавшего к остановке автобуса выскакивает Илья с огромной спортивной сумкой за плечом, вижу Ирку, которая вытягивается в струнку и машет, машет, а потом вдруг опускает голову, да и сама опускается, оседает на землю, плюхается с размаху на какой-то камень на обочине, замирает, забывает дышать.

Илюша оборачивается, протягивает руку, за нее хватается молодая женщина с распущенными белыми волосами, легко спрыгивает с подножки, автобус уносится дальше, а к нашей небольшой группе идут два бога, натурально два бога – она-то уж точно скандинавская богиня, вот тебе и Людмила, вот тебе и пикник.

Солнце в тот день светило так ярко, будто хотело растопить не только наши сердца, но и розовые камни домов. Не думаю, что Ирка видела солнце. Она нацепила солнечные очки, отвернулась ото всех, а когда подошел наш автобус, забилась на заднее сиденье и не высовывалась особо. Я села с ней рядом, всю дорогу до Латруна мы молчали, да и о чем тут говорить?

Илюша вел себя, как всегда, то есть, как всеобщий любимец, он сразу же представил свою Людмилу, она улыбалась и кивала, как пластмассовая кукла, отвечала на приветствия на неплохом иврите, а потом они сели вдвоем впереди, непо-

далеку от Шуламит и экскурсовода, и смеялись и шутили всю дорогу, будто не было на заднем сиденье скукоженной Ирки с дурацкими ее очками и глазами, распухшими от слез.

Глава десятая

– Дура я, дура, – причитает Ирка, счищая скорлупки с яйца. – И что же я такая дура, а?

– Огурец соленый хочешь? – я протягиваю ей огурец, не зная, чем утешить.

– Хочу, – кивает она, шмыгая носом. – Погляди на них, что делают?

– Ничего не делают. Бутерброды разворачивают. А сама чего не поглядишь?

– Не могу сама. Не могу его видеть. И ее не могу. Что он там про нее в автобусе рассказывал?

– А ты разве не слышала?

– Слышала – не слышала, не помню, – Ирка хмурится. – Так что было-то?

– Ну, рассказывал, что она приехала только вчера, с детьми, а задержалась на полгода потому что квартиру продавала.

– Это я знаю, – кивает она, заедая печаль огурцом. – А откуда его выдра иврит знает, если только приехала?

– Тут все просто – оказывается, они оба начали учить язык еще в Ленинграде, задолго до отъезда, она даже преподавала иврит для начинающих, представляешь?

– Представляю, – гнусавит Ирка. – Я только одного не представляю, – и она с тоской смотрит на меня, – как я те-

перь ему на глаза-то покажусь?

– А отчего нет? – удивляюсь я.

– Понимаешь...

Ирка отряхивает крошки с брюк, вытирает нос и глаза салфеткой, утыкается взглядом в землю.

– Понимаешь...

Она поднимает голову, смотрит на меня своими бледно-васильковыми глазами, покусывает губы, начинает говорить, а сама аж вздрагивает через слово, потому что плакать хочется, а нельзя, при всех-то. Стыдно.

– Стыдно мне, – говорит она мне между двумя своими вздрагиваниями, – стыдно.

– Понимаю, – отвечаю я, но она прерывает меня, так горячо прерывает, что кажется, еще немного, и воспламенится все вокруг – и стол деревянный, за которым мы с ней сидим, и трава сухая вокруг, и эти огромные сосны.

А как воспламенится, тут уж огонь запоет, загуляет, перекинется через высокую каменную стену на монастырский сад и пойдет блудить в апельсиновой роще, да и пропадет в виноградниках. Пропадет, но пусть сначала нагуляется всласть, ведь должен же кто-то наполнить наши ягоды светом, в глаза счастьем.

– Ничего ты не понимаешь, – восклицает она и продолжает уже тише, оглядываясь на другие столы, где сидят все наши. – Мне стыдно не оттого, что я с женатиком связалась. Мне стыдно, что я за счастье свое бороться не умею. Чуть

преграда – руки опускаю. Это потому, что я с детства в себя не верю.

Я молчу, не знаю, что сказать. Она отворачивается, срыгает травинку, грызет сухой стебелек.

– Знаешь, как я Машеньку свою называю?

– Как?

– Машенькой, – Ирка смотрит на меня исподлобья. – А знаешь, как меня мама всю жизнь называла?

– Как? – спрашиваю я, заранее зная ответ.

– Ирккой, – вздыхает она и продолжает: – Я ведь у нее нежеланной была, она и не скрывает этого. Хотя, конечно, любит и все такое. Может, поэтому у меня с самого детства страх один внутри – сначала прилеплюсь к человеку, а потом сразу начинаю бояться, что надоем ему. Бывает у тебя так?

И снова я молчу, потому что не бывает.

А Ирка и не ждет моего ответа, отбрасывает травинку, продолжает, будто через силу:

– Вот и с мужиками всегда у меня так, а уж с Илюшей и подавно. Хотя, – и она задумывается, улыбается, вспоминает, – хотя, знаешь, с Илюшей все по-особенному, – Ирка кивает, будто хочет запомнить все это – и поляну между сосен, и травинку, и монастырский сад неподалеку, запомнить и сохранить глубоко внутри, так глубоко, что навсегда, и не говорите, что такого не бывает. – Может оттого, что это все – судьба? Ну, то есть все, что между ним и мной – по-настоящему?

Она смотрит на меня с удивлением, будто только что открыла для себя остров под названием Любовь, открыла, испугалась и не знает, что с этим островом дальше делать. Обогнуть, мало ли? – не заметил в тумане – и уплыть дальше, или выброситься на берег, подумаешь – мели и скалы?

Ирка машет рукой, она не привыкла так долго размышлять и рассуждать о высоких материях, она вскакивает, начинает собирать со стола салфетки и пластиковую посуду, складывает все это в мешок, идет к деревянной мусорке, по дороге натывается взглядом на Илюшу, вот они остановились друг против друга, и я вижу, будто молния мелькнула между деревьев, а может, это все моя неумемная фантазия, кто знает?

Молния мелькнула и пропала, а Ирка возвращается к столу посветлевшая и тихая.

– Дура я, – говорит она мне, – самая настоящая дура.

Я с опаской смотрю на нее, неужели снова реветь будет?

– И чего, спрашивается, я разнылась? – продолжает она, снимает черные очки, достает из рюкзака пудреницу, раскрывает, разглядывает свое распухшее от слез лицо, цокает языком. – Это надо же, совсем разучилась держать удар.

Ирка качает головой, пудрит нос, подкрашивает губы. Захлопывает пудреницу, бросает ее в рюкзак, смотрит на меня так, будто видит в первый раз в жизни.

– Подумаешь, Людмила. Все равно он будет мой. Я это вот чем чувствую.

Ирка снова стала самой собой, она кладет руку на живот, в самый его низ, там, где у нее бабочки, и усмехается.

– И потом – я же заговоренная, ты не забыла? Кто знает, может, я заговоренная на любовь?

Издалека доносится звук колокола. Это монахи-молчальники возвещают о том, что у мира полдень, а у полдня – мир, птицы прячутся в тень, тени прячутся в дупла, деревья встают на цыпочки, экскурсовод предлагает прогуляться по окрестностям, я складываю покрывало с петухами, завязываю ремешки на рюкзаке, оглядываюсь по сторонам, чтобы еще раз запомнить вот это все, а вдруг пригодится?

Ко мне подходит Шуламит, спрашивает – не устала ли я и как поживает мой живот.

Мой живот поживает отлично, Данька, видно, спит, еле-еле постукивает пяткой, типа, ходи-ходи, укачивай, я показываю Шуламит большой палец, мы выстраиваемся гуськом, чтобы нырнуть в мандариновую дымку, за которой, будто белье на веревке, покачивается пустыня, похожая на наше будущее, в центре ее – огромный глаз – это море из наших слез, потому что счастье без слез – какое же это счастье?

Глава одиннадцатая

– На пятницу ничего не планируем! – провозгласила бабушка на следующий день. – В пятницу у нас прием.

– Что за прием? – поинтересовался папа. – И можно ли уже наряжаться?

Перед самым отъездом в Израиль пять сотрудниц патентного бюро, проработавшие под папиным началом лет двадцать, а то и больше, организовали ему чувствительные проводы, а под конец вручили прощальный подарок в коробке малахитового цвета.

– Кто эти тетеньки? – спрашивала я бывало, отбиваясь от объятий и сюсюканья пышных кремпленовых дам, в те редкие дни, когда папа брал меня, маленькую, на работу.

– Это мои боевые подруги, – усмехался папа в бороду.

Зато мама называла их не иначе как «твои женщины», при этом голос у нее становился металлическим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.